

Денис Грачёв

Песнь о прозрачном времени

Рассказ

16+

Денис Грачёв

Песнь о прозрачном времени

«ЛитРес: Самиздат»

2002

Грачёв Д. А.

Песнь о прозрачном времени / Д. А. Грачёв — «ЛитРес: Самиздат», 2002

Рассказ написан в 2002 году во время научной работы Дениса Александровича Грачёва в институте славистики голландского города Гронинген. Создавая докторскую диссертацию, посвящённую проблематике образа автора в советской прозе 20-30-х гг., Грачёв так или иначе фиксирует часть своих научных размышлений в этом небольшом тексте с саркастическим "посвящением сюжетной прозе". Действие причудливой литературной фантасмагории происходит в начале нулевых. Тимофей, мальчик шести лет, едет за своим Желанием в подмосковное Михнево, бесстрашно общаясь по пути с inferнальными сущностями.

Содержание

Посвящается сюжетной прозе	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Посвящается сюжетной прозе

А его невозможно не любить: посреди елейно-благого неба – солнце, как крупный глоток горячего молока: жарит, подрумянивает голубой воздух, гоняет его туда-сюда, из стороны в сторону, из Москвы в Петербург и обратно, но не яростно, как то́ зимой да осенью случается, а нежно, по-отечески, без акцента, то есть. Да, дорогие мои, только летом всё в этом мире совершенно подогнано, только летом ничего друг другу не мешает и находится в *гармонии* (– видите, мне и такое слово знакомо, невзирая на обманчиво-наивный мой вид. Вот, мол, сказал бы иной досужий физиогномист, совершенно несведущий в тех окольных путях, которыми любого, даже самого несмышлёного природа может привести к мудрости, вот идет себе малыш лет эдак шести, прогуливается без толку и цели и неведом ему смысл слова *гармония*. Ошибаетесь, почтеннейший, в корне ошибаетесь: гармония – это когда внутри одного и того же всё ладится и подходит: втушка к втушке, тыртик к тыртику, так что поспешны и безмерно необдуманны эти упрёки в недомыслии).

Так вот... А с чего это я начал?

Ах да, *лето*. Лето сейчас: солнце светит, как будто дышит – просторно, с напором и серьёзной, не игривой силой, а я, одетый не по сезону, в серое пальтишко, иду длинным сквером к метро. Иду не торопясь, потому что и времени у меня много, и сквер, под натиском порывистого северо-западного сквозняка неровно шелестящий деревьями, как ему вздумается, мал не только для взрослого, который, озабоченно попивая пивко, стремглав проскакивает его на всех пара́х, но и для меня, карапуза, так что негоже отказывать себе в удовольствии неспешной прогулки. Нижнюю пуговицу от пальтишка я оторвал и засунул мишке в живот. У мишки, с которым давно не играю, потому что стал большим, есть в животе дырка, старая такая, вековая, и вот в неё-то я и спрятал пуговицу, чтобы когда-нибудь вернуться домой.

Хорошее небо сейчас, ласковое, и в метро спускаться совсем не хочется. Сразу за стеклянными дверьми я несколько времени стою, пока наконец не показывается женщина, чьи мысли вертятся волчком только внутри неё, не выходя наружу. Она идёт походкой мелкой, как дробь, и потому за этими каблучками, гулко цокающими в каменный пол, мне легко успевать. У неё усталое лицо, лицо человека, погружённого в свои мысли не как в Средиземное море, а как в болотце, где неприятный воздух стоит столбом, и в неприятный воздух этот поют старые, развращённые старостью и бездельем жабы; стало быть, лицо у неё человека, *досадливо* погружённого в свои мысли: так всегда бывает, когда мысли не желанны, а неизбежны, и люди с такой гарью в голове менее всего способны заметить подле себя случайного сошагателя, шестилетнего мальчика, на протяжении десяти метров идущего с ними рядом. Но это для них мальчик идет рядом случайно, а вот для служителя, стоящего у турникетов, такой маленький мальчик не может идти рядом случайно, ведь он наверняка семенит рядом со своей мамой, и потому служитель не удивляется, что малыш с самым что ни на есть уверенным видом пролетает мимо него и ныряет в метро. Бедная тётенька, стоящая у турникета, замотанная нищей жизнью до желтизны в лице и до застывшей на жёлтом этом лице, как корка, маски беспросветного хамства, если бы ты потрудилась взглянуть в наши лица, в моё и моёй случайной попутчицы, миновавшей вверенный тебе турникет стремительно, как хороший пловец преодолевает невысокую волну, если бы ты потрудилась даже не взглянуть, но хотя бы взглянуть в наши столь несхожие лица, если бы тебе пришло в голову оглянуться и заметить, что мама и сын, ставшие таковыми по воле случая на два десятка скоростных секунд, только-только отойдя от турникетов, сделались совершенно не знакомыми друг другу людьми: мама, вспомнив нечто особенно горькое, крепко-накрепко сжала губы и остановилась с глазами, полными то ли презрения, то ли просто мольбы к каким-то невидимым людям, а мнимый сын от греха подальше,

пока застывшая мама не обнаружила рядом с собой подозрительно остановившегося чужого сына, затрусил на противоположный конец вестибюля. Если бы ты заметила всё это, несчастная и злая, если бы швырнула мне в лицо гнусавый свой, нервозный вопль, если бы, обиженная судьбой на девять баллов по шкале Рихтера, ты отыгралась за свою подлую униженность на мне, ребёнке, заподозрив нечистое в одиноком моём фланировании, и отправила мальчика домой, к истинной маме, как было бы всё иначе, как изменился бы мир, а точнее каким бы неизменным, каким бы неизменно-регулярным, величественным и не посрамлённым в своей регулярности остался он! Но не было тебе озарения, неблагословенная, упакованная в убогую свою вытертую униформу, как в хлопчатобумажный пожизненный гробик, не было тебе озарения и отныне и вовеки ни один его отблеск, ни один его троюродный внучатый племянник не снизойдёт к тебе в твою мягкую могилку и не пребудет с тобой.

Из тоннеля поезд выбрался рывком: как всегда, почти неожиданно, охваченный высокой температурой ненужной спешки: издали приближался, блестя коварными жёлтыми глазками, симулируя медлительность, а потом, подобравшись к горлышку тоннеля, внезапно, одним толчком, выпрыгнул, как кобра. Другой мальчик, деревенский пузан с наливными щёчками, в тулупчике, шапке-ушанке и с совочком для снега – клад искать – испугался бы, прижался к маме, дородной и пучеглазой, захныкал – а мне хоть бы что... Только при чём здесь тулупчик и совок для снега: ведь лето сейчас, и даже я в пальтишке, которое старые старички называли смешным словом *демисезонное*, смотрюсь нелепо? Вот так всегда, задумаюсь – и не успеет иной до трёх сосчитать, как опрометью мысль прыснет не разбирая пути, так что между *один* и *три* не два поместится, а целых пять дней пути на оленьих упряжках сквозь вьюгу и листопад. М-да, всегда для меня это загадкой было – как это люди умеют думать об одном и том же, как это все другие думы стоят в сторонке, почтительно сняв кепочки, и не мешают думать своей подружке? Неужели не интересно им забежать вперёд и подумать о том, о чём она, пен-тюшка, подумать ещё не успела; разве не интересно увидеть, как она в смятении собьётся с мерного своего шага, как предоставит на потеху благодарным зрителям шагательно-двигательное ассорти: аллюр, галоп, рысь?

Ну всё, довольно, сейчас как раз нужно, чтобы был... *твёрдей дух!* А с твёрдым-духом и мысли все как по линейке. Вообще-то в метро мне всегда спокойно от этой скользящей вокруг темноты и оттого, что пространство, совершенно приручённое внутри этих просверленных сквозь землю дырок, испаряется прикосновением поезда стремительно, как кипящее молоко. Да-да, всегда спокойно и безмятежно я чувствую себя в метро, но теперь, конечно, немного волнуясь, и ладошки у меня часто становятся влажные, так что часто приходится их вытирать о брюки. Я слегка привстаю, чтобы разглядеть в противоположном окне своё лицо. Вот оно. Ничего особенного: глаза, уши, рот, носик – всё на месте, а главного-то, бледный я или нет, видно ли со стороны, что я всё же немного побаиваюсь, того не разглядеть в тёмном хрустале.

Вагон полупустой, люди расселись реденько, вразвалку, кто-то даже поставил на сиденье две крупные сумки, из которых выглядывают усы зеленого лука и свернутая в трубочку газета, и эта редкость люда позволяет ему друг к другу приглядываться, то есть как бы даже оправдывает тех, кто мчит к центру города налегке, без занимательной литературы, в их предсудительном для переполненного вагона присматривании и приглядывании к незнакомым, к совершенно посторонним людям. Вот и бабушка, сидящая неподалёку, – она заприметила меня сразу, я бы сказал – оживлённо-метко заприметила, заранее предвкушая, как будет смаковать мои всё ещё неточные детские движения, как умилится моей вертлявости и непосредственному жесту – вытертому тыльной стороной ладошки носу. Но ничего этого не воспоследовало – ни вертлявости, ни влажного запястья; если что и было из этого списка, то только нос, нос сам по себе, не дающий в надменности своего высокомерно-чистого дыхания никакой надежды для

¹ Возможно, опечатка в оригинальном тексте вместо «твёрдый».

услужливых ручек, охочих до антисанитарии. Бабушка – чёрный войлочный беретик, развязно прислонившаяся к её бедру черная сумочка, похожая на кочан варёной капусты – несколько времени исправно ждала, как я задвигаюсь положенным малышу образом, но, увидев, что дело ограничилось кратким обзором внешности в противоположном окошке-зеркальце, решила взять инициативу за рога и, углубившись в складки кожезаменительных капустных листов, после минуты монотонных поисков выудила на свет Божий мальчик-с-пальчика, завернутого в синий гофрированный фантик. Она ничего не сказала, а только подбадривающе подмигнула и протянула его мне.

Ох как не хотелось мне, бабушка, брать конфетку, ведь я помнил, как Серёга рассказывал в детском саду о не известной мне девочке из соседнего с ним дома, которая, приняв от проходившей мимо старушки такое соблазнительное на вид шоколадное лакомство, съела его не откладывая в долгий ящик и тут же умерла. То же и Димка Моторин рассказывал, а *в седой древности*, когда я ещё ходил в среднюю группу, один мальчик, имени которого мне теперь ни за что не вспомнить, поскольку он давным-давно переехал в другой район Москвы, возбуждённым шёпотом, обрывающимся под порывами рвущейся на волю фантазии, повествовал о бесшабашном ребенке, чья любовь к сладкому обратила его в аналогичных обстоятельствах в жука. Но теперь я уже большой и понимаю, что маленьким смерть не кажется удивительной и они вместо неё, такой скучной, а значит вполне естественной и очень даже правдивой в подобном рассказе, выдумывают превращения и разное ненастоящее волшебство.

Я поступил *половинчато*: я огорчил и не огорчил бабушку. О том, что я не огорчал её, знал только я, о том же, что я огорчил её, знали мы оба. Я принял её дар, обхитрив врага и обойдя его западню, но не дал умилиться живописной картиной того, как этот пострел – вот ведь живулька! – с жадностью сдёрнет фантик, схватит маленькими пальцами карамельное тельце в шоколадной глазури и целиком отправит себе в рот; а там, кто знает, может быть, и повезёт, может, несмышлёныш перепачкает себе от жадности рот или, того лучше, щёку размякшим шоколадом, и вот тогда-то настанет час триумфа: снисходительно-укоризненного качания головой, уместных наставлений, которые, пока еще рука с конфеткой тянулась к малышу, спешно отряхивались от нафталина – того, словом, неповторимого букета ощущений, что порождается видом вспышки чужой невинной страсти, как демиургом, вызванной тобою самим столь дешёвым и благопристойным образом. Но я огорчил и не огорчил бабушку, не дав ей повода ни для лукавой укоризны, ни даже для умиления: я просто взял конфетку, сказал «большое спасибо» вместо обычного «спасибо» и положил её себе в карман пальтишка. Я знал, что она ещё сослужит мне службу. На следующей станции я поспешно вышел, дождал следующего поезда и поехал дальше.

На воздухе мне стало спокойней: во-первых, небо, тихой постепенной сапой переходящее в космос, наглядно демонстрирует тебе ничтожный масштаб не только твоих волнений, но и тебя самого, такого маленького, что без подозрительной трубы тебя не заметить даже с Луны, не говоря уже про альфу Центавра, а во-вторых, толпа тел, намного превышающих твоё своими размерами, которая разными потоками циркулирует вдоль и поперёк вокзала, заставляет задуматься о том, как бы не быть преждевременно растоптанным чужими невнимательными ногами.

И я шёл очень быстро, витками и кружочками, уворачиваясь от чужих ног и не пересекая своей детской меленькой походки с крупными, безжалостными, взрослыми походками самозабвенно спешащих людей. Прилепливаясь попеременно то к одному, то к другому, то к третьему шагателю, я доплыл до знакомого поезда, просеменил до конца его, туда, где обычно меньше всего пассажиров, и вплыл потупившись в тёмный, как берлога, вагон. Вернее, был это не совсем поезд, это было особое ответвление генеалогического древа поездов – электричка, а знакомство наше объяснялось несколькими путешествиями, которые мы с мамой проделали

на ней некогда, во времена оны, когда дни были быстролётны и беззаботны и мама почти всё время жила рядом.

До отправления оставалось довольно много времени, и вагон был почти пуст. Я сел на первую скамейку поближе к окну и начал разглядывать свои ботиночки. Красивые были ботиночки, когда их только купили: глянцевые, блестящие, в ясный день солнце без труда высекало из них искру. Шли, бывало, ботиночки по улице Радужной, сворачивали на гудящую и дудящую преобладающую улицу Енисейская²

² Улицы района Москвы, где Денис жил с сыновьями в начале 2000-х (квартира находилась на Радужной).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.